

Наталья Самуилова Софья Самуилова

# ОТЦОВСКИЙ КРЕСТ

В ГОРОДЕ  
1926-1931



**Наталья Сергеевна Самуилова**  
**Софья Сергеевна Самуилова**  
**Отцовский крест.**  
**В городе. 1926–1931**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=25580443](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25580443)*

*Отцовский крест. В городе. 1926–1931: Сатисъ; Санкт-Петербург;  
2014*

*ISBN 987-5-7868-0099-0*

### **Аннотация**

1926 год. Многотрудный путь священнического служения приводит о. Сергия Самуилова в захолустный уездный город. Грязь такая, что подметки от сапог отваливаются! Но страшнее, чем бездорожье – грязь и разруха, царящие в душах людских. Словно все грехи мира, долго таившиеся в глубинах адовых и человеческих, выбрались наружу и ополчились войной на Церковь Христову.

Унижение, страдание, заточение – вот участь верных чад Божиих в те годы на Русской земле. Но верно обещание Спасителя: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее». Сыновья продолжают служение отцов, и в безумной кровавой круговерти, как в горниле, очищаются и укрепляются сии три: вера, любовь и надежда на милосердие Божие.

# Содержание

От редакции	6
Отцовский крест	8
Глава 1	10
Глава 2	16
Глава 3	24
Глава 4	36
Глава 5	45
Глава 6	56
Конец ознакомительного фрагмента.	62

**Наталья Самуилова  
Софья Самуилова  
Отцовский крест  
В городе  
1926–1931**

© С. С. Самуилова, Н. С. Самуилова, 1996.

© В. С. Рыжков. Предисловие, 1996.

© Издательство «Сатись», оригинал-макет, оформление,  
2013

*По благословению Архиепископа Пермского и Саликамско-  
го  
Афанасия*

*Рекомендовано к публикации Издательским Советом Рус-  
ской Православной Церкви*

**\* \* \***

*Возлюбленной о Господе дорогой сестре ин.  
Таисии!  
Во укрепление в вере и благочестии, в*

*просвещение ума и сердца, в утешение души!*

*С БЛАГОпожеланиями, м. София, ин. Фекла,  
Мария.*

*Пасха, 2014 г.*

## От редакции

Документальная повесть «Отцовский крест» (это название дано редакцией, авторское название: «Из жизни одного священника») издается нами по самиздатской машинописной копии. Первая часть книги («Острая Лука») передана издательству Ольгой Николаевной Вышеславцевой, а вторая («В городе») была найдена в библиотеке Санкт-Петербургской Духовной Академии, на титульном листе этой последней обозначено: Куйбышев, 1989 г. Но, по-видимому, это год перепечатки, а не написания повести. Судя по некоторым замечаниям в тексте, первая часть книги была написана в 1940-50-е гг., а вторая – в 60-е гг. Кроме того, из текста повести можно извлечь следующие сведения о ее авторах. Это:

**Софья Сергеевна Самуилова**, 1905 г. рожд., уроженка с. Острая Лука, Березоволукской волости, Николаевского уезда, Самарской губернии (ныне это Саратовская обл., Духовницкий р-н, сохранилось соседнее село Березовая Лука, а Острая Лука затоплена водами Саратовского водохр.).

**Наталья Сергеевна Самуилова**, род. там же в 1914 г.

Обе они – дочери настоятеля церкви села Острая Лука в период 1906–1927 гг. о. Сергия Самуилова, 1883 г. рожд., выпускника (1905 г.) Самарской семинарии, ректором которой тогда был архим. Вениамин, впоследствии свщмч. Вениамин Петроградский.

В 1927 г.о. Сергей (в сане протоиерея) был переведен в Воскресенский («новый») собор г. Пугачева (бывш. Николаевск), в котором прослужил до 1930 г., когда был арестован «за агитацию против колхозов», так же как и его архиерей, **владыка Павел (Флоринский)**, в те годы еп. Пугачевский. Место о. Сергия в соборе занял его сын, **о. Константин** (1908 г. рожд.), также впоследствии репрессированный. Кроме того, среди лиц, знавших о. Сергия, в тексте упоминаются: митр. Уральский **Тихон (Оболенский)** и еп. Вольский и Балаковский **Андрей (Комаров)**, в посл. (с 1943 г.) архиеп. Куйбышевский (ум. 1955 г.). Год гибели самого о. Сергия предположительно 1932.

**Издательство «Сатисъ»** будет благодарно всем, кто может сообщить какие-либо дополнительные сведения об авторах этой повести и других членах семьи Самуиловых, особенно, если кто-нибудь из них до сих пор здоровствует. Просим обращаться по адресу: **199034, Россия, Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., 8/4, лит А. или позвонить по тел: (812) 323-63-42.**

# Отцовский крест



# Глава 1

## История с географией



Давным-давно, еще во времена Пугачева, и еще раньше его, стояла на одной из извилин Большого Иргиза, на правой его стороне, слобода Мечетная. Стояла она как будто посреди широкой степи, тянувшейся от Волги до Урала, а на самом деле уже на крайних западных отрогах Общего Сырта. Поэтому степь, к западу совершенно ровная, только кое-где перерезанная оврагами, к востоку начинала постепенно холмиться; да и на запад от слободы горизонт закрывал, точно

край котловины, длинный, пологий подъем, тоже носивший название Сырта. За этим Сыртом целиком пряталась слобода, позднее город Николаевск. Он скрывался в котловине даже тогда, когда в нем выстроили высокий Новый собор. С запада все равно была видна только пустая, безлюдная степь, и лишь с края Сырта открывался сразу весь городок и окаймленная лесом линия Иргиза. Линия эта отнюдь не была прямой; можно было пойти и вниз, и вверх по реке и одинаково, километра через три, увидеть на левом берегу село Давыдовку занимавшее горловину большой извилины, которыми отличался Иргиз. Рассказывали, что когда-то, когда по реке еще тянули бечевой небольшие плоты и баржи, бурлаки утром не тушили разложенного на ночь костра, только присыпали его сверху золой, а вечером, располагаясь на новый ночлег, бежали туда за огоньком. Так длинный, целодневный путь по берегу продвигал их по прямой на каких-нибудь полтора-два сажена.

К двадцатым годам нашего времени по берегам Иргиза оставались только отдельные лесные островки, почему-то носившие украинские названия «гай»: Титов гай, Белый гай, Толстый гай, но раньше здесь леса было гораздо больше. Лесная глушь заполняла берега Иргиза, и под ее защитой стояли скиты раскольников, скрывавшихся здесь, в вольной стороне, от «тесной» жизни обжитой части России. Старообрядческий Иргиз в свое время славился между раскольниками не менее, чем Черемшан или описанный Мельниковым-Печер-

ским Керженец. И ничего, что слобода, по обе стороны которой они расселились, называлась Мечетная, т. е. что первыми и основными насельниками в ней были татары. Сейчас трудно сказать, как сложились первоначальные отношения русских с татарами, но нужно думать, что хозяева не имели ничего против новых соседей, иначе они, конечно, сумели бы быстро отвадить их. Больше того, археолог мог бы доказать, что какой-то период пришельцы даже оказывали на аборигенов сильное влияние, приведшее к осязаемым результатам. Правда, и до нашего времени татары занимали отдельную, северную часть города, так называемый конец, или аул. Жили они там своей обособленной жизнью: две мечети; медные, чеканные, с узким, как у чайников, горлышком, кувшины для омовения, стоявшие во дворах; женщины, в свободных, как рубаха, платьях и заменивших чадру платках вроспуск<sup>1</sup>, часто не умеющие даже объясняться по-русски. Но на пустыре за татарским концом, на высоком берегу Иргица, примерно посередине между последними домами и зданием электростанции, еще в двадцатых-тридцатых годах можно было видеть заросшие бурьяном остатки старинного кладбища. Не было на нем ни русских дубовых крестов с верхушками в виде маленькой часовенки, ни поставленных стойком, грубо выломанных, нетесанных глыб белого камня, как у татар. Там рядами лежали поросшие мхом, изъеденные

---

<sup>1</sup> Кстати, старинные старообрядки так же носили платки. Кто у кого заимствовал?

временем, но с ясными признаками отделки, каменные плиты. На каждой плите сверху был высечен крестик, а под ним русское христианское имя и татарская фамилия. Значит, жили здесь когда-то крещеные татары, достаточно культурные, чтобы оставить по себе эти памятники, и настолько многочисленные, что имели собственное кладбище.

Но не до них было в те годы, а может быть, тут скрывалась еще одна интересная страница истории края и русско-го христианства. Сейчас трудно сказать не только то, когда появились здесь крещеные татары и почему исчезли, а, и вообще, когда они жили там: когда Иргиз был еще старообрядческим, или когда скиты и монастыри постепенно переходили в единоверие. Ко времени этого перехода слободы Мечетной не было и в помине, она превратилась в уездный городок Николаевск. Городок понемногу ширился, рос; появились в нем один за другим «темные» богачи: Мальцев, Волковойнов, Чемодуров и другие. Про источники их богатства ходили такие же темные слухи: тот «занимался» фальшивыми деньгами; тот сам их не печатал, а нашел на своем гумне спрятанную в омете соломы кипу ассигнаций да еще сумел скрыть большую часть их от брата, вместе с которым сделали находку; тот убил проезжавшего купца; тот обманул и обобрал своих же собратьев-старообрядцев. Конечно, все это скрывалось во мгле времен, а ближе к нашему времени представители этих фамилий были просто богатыми купцами, торговавшими, в основном, хлебом. После революции,

когда купцы исчезли, а Николаевск был переименован в Пугачев, в нем оставались две громадные для такого городка мельницы.

Находившиеся близ города монастыри к 1926 году один за другим были закрыты. Самый дальний из них, Преображенский, располагался километрах в 9-12-ти на северо-восток от города, в живописной местности между Иргизом и заросшим лесом озером Ковшик. Он служил резиденцией епископа Уральского и Николаевского Тихона; там же помещалась и основанная свт. Тихоном миссионерская школа. В двадцатых годах монастырь был превращен в тюрьму, но недавно эту тюрьму перевели ближе к городу, на юго-восточную окраину, в православный женский Вознесенский монастырь. Там еще функционировала церковь, закрытая только в начале 1927 года, и часть корпусов еще занимали монахини, которых постепенно переселяли в город. Говорили, что перенести тюрьму вынудила необходимость: с некоторого времени в Преображенском монастыре начал слышаться подземный звон, не дававший покоя ни заключенным, ни охране.

Третий монастырь, женский, единоверческий, Никольский, находился километрах в трех к югу от города, как и первые два, тоже на берегу Иргиза; там уже несколько лет существовала трудовая артель, организованная монахинями.

В городе имелись кладбищенская и единоверческая церкви и два собора – Старый, екатерининских времен, деревянный и приземистый, и Новый, кирпичный, насчитывавший

всего два-три десятка лет<sup>2</sup>.

Соборы стояли на двух, примыкавших одна к другой, площадях или на одной, разделенной глубоким оврагом, а совсем рядом со Старым высилась громада еще одного, самого нового собора. Его начали было строить перед войной 1914 г., вывели стены и своды, а закончить помешала война. Так он и стоял, непокрытый, под дождями, снегом, как памятник прошлого, дав тему для местной пословицы. Когда в городе хотели сказать о чем-то, что делалось очень медленно, говорили: «Как собор строится». В двадцатых годах его начали разбирать, но добротный цемент превратил здание в крепкий монолит, кирпичи не отделялись, а ломались и крошились, работа еле подвигалась. Тогда вместо прежней пословицы стали говорить: «Как собор ломают».

---

<sup>2</sup> Прилагательные Старый и Новый употреблялись в городе, как собственные имена.

## Глава 2

# Первые впечатления

*То правда. Город не широк,  
Не длинен...*

*– И площадь. Площадь велика.*

*Некрасов*



Если рассуждать с практической точки зрения, переход отца Сергия из Острой Луки в Пугачев казался вполне естественным, почти неизбежным. Прослужил человек в небольшом, бедном приходе двадцать лет, дослужился до протоиерея и, вполне понятно, при первой же возможности занял место, более соответствующее его новому сану, тем более, что и дети подросли, учить надо. И, может быть, никому не приходило в голову, как тяжело было всей семье расстаться с этим бедным приходом, каким неприятным казался в первое время Пугачев. Он был теперь виной всех мелких неполадок, всех жизненных неудобств, начиная с холодной квартиры до... да сама Соня, которая чаще других употребляла формулу: «В этом Пугачеве!..» – имея ввиду, что «в этом Пугачеве» не может быть ничего хорошего, – даже она скоро заметила, насколько подчас бывает пристрастна, и, смеясь, говорила: «Теперь, кажется, если у нас чашка разобьется, и в этом Пугачев будет виноват».

Вполне понятно, что им было тяжело менять зеленое раздолье приволжского села на сухой, пыльный и грязный степной городок. До того они знали только один такой маленький городок – Хвалы́нск. Но Хвалы́нск привольно раскинулся по склону высокого берега Волги; главную улицу его до 1918–1919 гг. украшала аллея пирамидальных тополей; весь городок утопал в зелени: сады карабкались по склонам высоких холмов до самого леса. Целое лето по улицам разливался аромат то цветущих фруктовых деревьев, то липы, то бах-

чей и, непременно, бодрящий аромат сосновой хвои. Правда, мостовая была не лучше пугачевской и при езде по ней «кишки с печенками перепутывались». Зато каждый дождь смывал с нее пыль и уносил в Волгу. Если же и приходилось кому-нибудь выпачкаться, пробираясь по немощеным окраинам, то эта грязь, вернее, мокрый песок, сама отставала, как только просохнет.

В Пугачеве почва была грубая, суглинистая, дававшая массу мелкой, скрипящей на зубах пыли летом, а в сырое время превращавшаяся в глубокую липкую грязь, в которой оставались подметки, а то и отрывались головки сапог. В глубокие галоши грязь заваливалась сверху; живущим на окраинах непременно нужны были сапоги, а многие ли имели возможность сделать их на всю семью?

Вдобавок эту грязь нужно было срочно и тщательно отскабливать и смывать с обуви, отстирывать с подолов верхней одежды, хотя бы стеганой или меховой. Высохнув, она превращалась в плотно въевшуюся гляцевитую корку, как будто была замешена не на воде, а на клее. Даже на мостовой лежал такой слой грязи, что на выбоинах можно было зачерпнуть в сапоги. Соня полушутя-полусерьезно уверяла, будто мостовая сделана только для того, чтобы не утонуть с головой. А какая это была грязь! Вонючая, желтая, наполовину перемешанная с навозом; от отвращения мороз пробегал по коже, когда она заливалась в обувь.

Но и такая мостовая была только на двух-трех отрезках

ближайших к центру улиц, а район, где поселился о. Сергей, весной и осенью превращался в настоящее болото.

Особенно трудно было женщинам пробираться за водой к водокачке, стоявшей посреди улицы на перекрестке. Тут уже не обойдешь, не выберешь, где помельче, лезь прямо в самую топь. Те три года, которые Самуиловы жили в этом районе, о. Сергей в грязное время старался сам приносить воду. Иногда он пропадал значительно дольше, чем необходимо, а вернувшись, объяснял: «Выбрался я на угол, к домам, где грязи поменьше, смотрю – стоит женщина с пустыми ведрами и не решается переходить к водокачке. Я перелил ей воду, а сам опять полез».

Даже распорядок жизни горожан в какой-то мере зависел от этой грязи. Например, весенние каникулы в школе-семилетке, стоявшей посреди большой площади на окраине города, приурочивались ко времени весенней распутицы, независимо от того, совпадало это с каникулами в других школах или нет. В некоторые годы каникулы в семилетке особым постановлением исполкома приходилось продлевать на несколько дней против положенного, да и этого было мало. Случалось, что отцы сопровождали в школу 12-13-летних дочерей и в особенно топких местах переносили их на руках.

Конечно, сейчас, зимой, приезжие могли только слышать и догадываться об этом биче города, но были и другие прелести, заметные и теперь: пронзительные ветры, морозы, почти полное отсутствие деревьев; даже городской сад нахо-

дился на другом берегу Иргиза, за плотиной. Тяготила жесткая вода, от которой чай терял вкус, а волосы после мытья так склеивались, что иногда казалось – их так и не удастся расчесать, и нет другого выхода, как обрезать весь этот плотно свалявшийся войлок.

Единственным, что не только произвело на всех хорошее впечатление, но даже примирило со многим, был собор. И не снаружи. Снаружи он представлял из себя темно-красный пятиглавый куб с облицованными белым камнем оконными наличниками, пятью, когда-то посеребренными, а теперь просто серыми куполами-луковицами и отдельно стоящей высоченной колокольней под таким же серым куполом. Зато изнутри он очаровал всех, даже отца Сергия и Юлию Гурьевну, знавших все тридцать с лишним самарских церквей, из которых многие были гораздо богаче уездного собора.

В этом случае помогла именно его бедность. Стены внутри до того почернели от копоти, что прошлой весной почувствовалась необходимость, не откладывая больше, произвести внутренний ремонт, а средств почти не было. Как ни изворачивались члены церковного совета, как ни занимали, где только могли, – набранных денег едва-едва хватило на покраску, о росписи нечего было и думать. Зато покрасили собор в нежно-голубой цвет, переходящий на прямоугольных колоннах в зеленовато-бирюзовый. Краски казались почти прозрачными, как воздух, а своды и купол были так вы-

соки, что создавалось впечатление, будто тебя окружает чистое светлое небо с поблескивающими в самом зените первыми редкими звездами. От одного этого молитвенный порыв охватывал душу, и создавшееся настроение оказывалось настолько сильным и прочным, что заставляло забывать о мелких житейских неполадках.

Нужно сознаться, что такому настроению мешало многое. Прежде всего, несоразмерная высота здания, куда улетало зимой все печное тепло, а всегда, в любую пору года, – весь звук. Отец Сергей, говоривший вначале, что служить в соборе легко, т. к. собор сам допевает «аминь», скоро почувствовал и отрицательную сторону этого непосредственного участия соборных стен в чтении и пении. Особенно в чтении. Гулкий резонанс многократно преломлял, искажал и совершенно заглушал голос чтеца, и нужно было иметь большую привычку, чтобы разобрать хоть что-нибудь. Старожилы говорили, что раньше было еще хуже, но потом догадались отгородить десятисаженный цилиндр главного купола поперечным стеклянным перекрытием вроде потолка. Тогда явилась возможность понимать кое-что из читаемого, а зимой стало немного заметно, что собор отапливался. Впрочем, очень немного. Громадное (конечно, в уездных масштабах) здание требовало непосильных расходов. Ремонт, налог со строений, освещение все стоило гораздо, иногда в два-три и более раз, дороже, чем в Старом соборе. А особенно отопление. Трудно сказать, сколько нужно было дров, что-

бы добиться постоянной, ровной температуры. Теперь в каждую топку закладывали всего воз (на дровнях, примерно 3/4 кубометра), а то и полвоза дров, и все тепло поднималось к сводам, а внизу царил свирепый холод. Особенно он мучил в будни, да еще Великим постом, когда на дворе начинало таять и нельзя было ходить в валенках. Да и весной было нелегко. Промерзшие за зиму каменные стены согревались чуть ли не к концу июня, а в апреле и мае внутри собора все еще было холодно. Люди приспособлялись, кто как мог. Духовенство чуть не круглый год имело в запасе валенки, в которые обувались, приходя в церковь; в алтаре, чтобы не замерзали Св. Дары, была сложена маленькая печка-буржуйка. Некоторые прихожане приносили с собой специальные половички, а другие шли по линии наименьшего сопротивления и просто уходили в Старый собор. Как ни обидно было патриотам Нового, приходилось признать, что старинный, с низкими сводами и деревянными полами, Старый собор имел больше преимуществ перед Новым. Там было тепло, была хорошая слышимость и хороший хор, тоже привлекавший немало молящихся из чужого прихода. А лишние молящиеся давали лишний доход и, следовательно, возможность больше платить певчим, иметь лучшего регента, содержать третьего священника. Словом, там могли позволить себе много расходов, недоступных значительно беднейшему Новому собору, хотя официально он и считался первым, кафедральным. Впрочем, был определен круг людей,

привязанных к нему служебным положением или сердечной склонностью, или тем и другим вместе, потому что было в нем что-то внушавшее искреннюю любовь. Этим людям приходилось вести напряженную борьбу за то необходимое, что в Старом соборе давалось легко и просто, о чем там даже не думали.

## Глава 3

### Новые знакомства<sup>3</sup>



Пока приезжие устраивались на новом месте и толковали о том, что женщины должны сделать визиты семьям всех членов причта, счастливое для них стечение обстоятельств помогло познакомиться сразу со всеми. Настоятель, отец Александр Моченев, справлял третью или четвертую годовщину смерти матери и пригласил на поминки всех сослужив-

---

<sup>3</sup> Все имена и фамилии подлинные, за исключением одного лица.

цев, в том числе и отца Сергия с Юлией Гурьевной и Соней.

Следуя старинной традиции, о. Александр и матушка встречали гостей у входа в комнаты. Они здоровались с новоприбывшими и приглашали их пройти в столовую.

Отец Александр был крепкий, немного грузный батюшка, лет за пятьдесят. Несмотря на довольно большой нос картошкой, он был красив своеобразной красотой людей пожилого возраста. Когда-то темно-русые, а теперь наполовину седые волосы его ложились крупными волнами; сохранившиеся в широкой бороде темные пряди красиво оттеняли седину, а из-под густых, совершенно черных бровей глядели большие, приветливые глаза. Людям, знакомым с хроникой Лескова «Соборяне», отец Александр своей внешностью напоминал протопопа Савелия Туберозова, но характер у него был другой, более мягкий и покладистый. Беспокойный характер Савелия достался, скорее, отцу Сергию. И, как ни привлекателен образ Туберозова, трудно представить его с такой добродушной улыбкой, которая почти всегда светила на лице о. Александра, прячась в его роскошной бороде и таких же пышных, почти белых усах.



Словно по заказу, матушка София Ивановна, как и жена Туберозова, была маленького роста не просто меньше мужа, а совсем маленькая, чуть повыше Юлии Гурьевны, но зато полненькая и кругленькая, как колобок. При первой встрече, конечно, можно было заметить только ее приветливость хозяйки, но отец Сергей, узнавший ее несколько больше, очень уважал матушку, даже больше, чем ее мужа.

– У них женщины глубже, чем мужчины, – говорил он, характеризуя семью настоятеля и относя к числу этих, так высоко оцененных им, женщин и невестку Моченевых, жену их сына Анатолия.

Эта невестка, Евгения Ивановна или просто Женя, была хорошенькая молодая женщина с пышными светло-русыми волосами. Она выглядела особенно изящной и хрупкой рядом со своим здоровяком мужем. Оба они пели в соборном хоре. У Анатолия был сильный бас, второй по мощности в городе, где было немало хороших голосов. Нежный, серебристый дискант Жени, к сожалению многих любителей пения, редко удавалось слышать. В хоре его заглушал гораздо более сильный, хотя и менее приятный голос жены регента Прасковьи Степановны, а сольные партии из-за той же Прасковьи Степановны ей редко доставались.

Кроме них, в семействе Моченевых было две дочери: Зоя, студентка, учившаяся в Саратове, и пятнадцатилетняя Маруся, копия своего отца, с такими же большими глазами. Был

еще девятемесячный внук Шурка, худенький, болезненный малыш, с коротеньким красным носиком и вечно стоящими дыбом редкими пушистыми волосенками. Таким его вынесли к гостям, подняв с постели, и таким он оставался пять лет спустя, когда его увозили из Пугачева.

Подходя к дому, Самуиловы столкнулись с регентом Михаилом Васильевичем, а войдя, увидели среди собравшихся громоздкую фигуру дьякона Федора Трофимовича Медведева. Едва присутствовавших перезнакомили между собой, едва Михаил Васильевич успел извиниться за свою «Панюрку», которая не могла оставить прихворнувшего ребенка, как явились последние приглашенные: второй псаломщик Дмитрий Васильевич и его жена, как и Моченева, тоже Женя. Оба высокие, темноволосые, хорошо одетые, чего нельзя было сказать об остальных гостях, веселые и, видимо, свои люди в этом доме, так как о. Александр встретил их шутливым возгласом:

– Вот и молодожены явились! Их, как полагается, посадим в передний угол. Честь и место! Проходите!

– Какие же мы молодожены, отец Александр! – низким грудным голосом возражала вновь прибывшая, поправляя золотое пенсне на слегка прищуренных близоруких глазах. – Мы раньше ваших поженились.

– Ничего не знаю, раз держите себя, как молодожены, значит, такие и есть. Садитесь, садитесь, не задерживайте людей!

Матушка Софья Ивановна усадила Юлию Гурьевну около себя, и у них завязался оживленный разговор. Нашлись общие знакомые – учителя и классные дамы епархиального училища, где учились и обе они, и три дочери Юлии Гурьевны. Вспоминали бывших в их время архиереев. Юлия Гурьевна, как и много раз раньше, с удовольствием рассказывала про основателя училища епископа Серафима. Он постоянно следил за нуждами воспитанниц и даже, по мере сил, баловал их. То дорогих конфет к празднику пришлет, то апельсинов; зимой распорядился сделать в саду ледяную гору для маленьких и прислал что-то много салазок. Потом даже песенку пели, кто-то из преподавателей составил:

Продолжая свои ласки,  
Подарил ты нам салазки.  
И с счастливой той поры  
Мы катаемся с горы.

– Епископ Гурий тоже очень заботился об епархиалках, – подхватила Софья Ивановна. И сам часто бывал и на уроках, и на вечерах. Послушает, как девочки поют и декламируют, полюбуется, как маленькие играют, только на танцы никогда не оставался; как подойдет время начинаться танцам, встанет и уезжает.

– Вот я уже забыла, продолжала вспоминать Софья Ивановна, – какая это была игра, когда все встают в круг и поют, а одна ходит и палкой пристукивает. Когда я в первом

классе была, ходить досталось мне. Я всегда маленькая была, первым номером в классе. Вы представляете, первый номер в первом штатном классе это самая маленькая во всем училище. А епископ Гурий к нам всегда приезжал с красивым посохом, наверное, кипарисный был, – я тогда не разбиралась, – высокий, с серебряным набалдашником. Он мне его и дал, я и постукивала архиерейским посохом, который был раза в полтора выше меня. А он, конечно, сидел да посмеивался, он очень любил маленьких.

– Посмеяться он любил, покойник, Царство ему Небесное, вмешался отец Сергей, прислушавшись к разговору – У нас один семинарист хорошо его смех копировал. Бывало, сидим в классах и слышим: «Ха-ха-ха!» Все, конечно, настрожимся, и из каждого класса кто-нибудь выглянет посмотреть: Гурий приехал или наш товарищ балуется.

– А его воспитанницу, Анну Васильевну Киселеву, помните? – спросила Юлия Гурьевна.

– Как не помнить Анюту Киселеву? – восторженно воскликнула матушка. – Мы с ней почти одних лет были, я немного постарше. Епископ Гурий ее вывез из какой-то голодающей деревни. Анюта не круглая сирота, у нее мать была, бедная вдова. Епископ платил за содержание Анюты в училище и в женском монастыре, она там жила, а на лето ее, обыкновенно, кто-нибудь из подруг приглашал. У нее много было подруг, она была очень общительная, к слову сказать, очень красивая. После окончания епархиального, уже когда епи-

скоп Гурий был в Симбирске, Анюта так и осталась в училище классной дамой. А потом, уже много спустя, замуж вышла, уехала в Москву. Еп. Гурий еще мальчика тогда воспитывал, тоже сироту, Павла Петровича Мурашкина. Он потом, кажется, инженером стал.

– Да, я это все знаю, – подтвердила Юлия Гурьевна и переспросила: – Неужели Анна Васильевна моложе вас?

– Моложе. Вы не смотрите на моих детей, я старше, чем они показывают, – улыбнулась матушка. – У меня до Анатолия еще несколько человек было, все умирали. Анатолий тоже рос слабенький, болезненный, мы и не думали, что он выживет. Сама не помню теперь, кто нас надоумил в Саров съездить и в Дивеево, к юродивой Пашеньке. Слышали про нее?

– Слышала, а съездить не пришлось.

– А мы вот побывали. Приняла нас ласково, с Толей играет, разговоривает, а на руки не берет. Мне очень хотелось, чтобы она взяла, а она говорит: «Материн, материн», – и на руки не берет. Я, когда вышла, заговорила с ее послушницей и пожалела, что Пашенька ребенка не взяла, а послушница отвечает: «Это хорошо, что не взяла, значит, жить будет; она, когда берет, этим предсказывает, что ребенок умрет. А у вас что, дети не живут?»

– «Не живут», – говорю. – «То-то она про этого говорила – материн. Этот жить будет. Вы его еще, когда в пустыньку к отцу Серафиму пойдете, в источнике искупайте!»

Пошли мы на источник. Не знаю, как потом, а тогда там две купальни стояли – мужская и женская, и вода по трубе текла холодная, прямо ледяная. У меня ноги стыли, пока я купалась, а после очень приятно сделалось. Стала я и Толю раздевать, а женщины, которые тут были, говорят мне: «Неужели вы и ребенка купать будете, да еще такого больно-го? Простудите!» А я думаю: все равно он не жилец, только и надежда, что Бог поможет. И понимаете, не успели мы от пустыньки до монастырской гостиницы дойти, как он есть запросил, а до того насильно заставляли. И вот, видите, какой стал! Когда поет свои упражнения, пианино за ручку поднимает – и голос не дрогнет. А то подойдет к лампе – видите, у нас тридцатилинейная «Молния» – и возьмет какую-нибудь длинную ноту. Так лампа тухнет...

– Ты что же, хозяйка, заговорила и гостей не угощаешь! – раздался веселый, звучный голос о. Александра. – Кушайте, пожалуйста, рыбу, моя матушка мастерица ее готовить. Да и рыба хорошая попалась. Конечно, судак, а не осетрина, да Бог с ней, с осетриной, очень она коварная; меня это один раз больно коснулось, с тех пор видеть ее не хочу.

– Вы не о том ли случае вспомнили, когда не то двое, не то трое ею отравились? – переспросил о. Сергей. – Я уже теперь подробностей не помню, а тогда по всему уезду разговор был. Священник с женой тогда, кажется, умерли.

– Моя родная сестра с мужем, – вздохнул о. Александр. – Съезд был в Николаевске, зять приехал, и она с ним, хотела

со мной повидаться. В одном номере мы и остановились. После съезда прошли по магазинам, купили малосолевой осетрины, поели на дорожку; в охотку-то много съели. Мне тогда нездоровилось что-то, я отказался, а то с ними же был бы. Я осетринку-то любил. У меня кое-какие дела в городе были, я задержался, а они сразу после обеда собрались. Едва половину пути до Подшибаловки проехали, как зять почувствовал, что ему нехорошо – голова кружится и в глазах двоится: две лошади, два солнца, четыре руки. Заговорил с женой, оказывается, и у нее тоже. До Подшибаловки от города 25 верст; там больница была. Зять погнал лошадь, что было сил, да все равно не успел. Успел все-таки мне телеграмму послать: «Жена умерла, я лежу». Я, конечно, сейчас же ямщика, застал зятя при последнем издыхании... Да, вы правы, отец Сергей, шума тогда этот случай много наделал... – Возьмите пирога, не пожалеете!

– Спасибо. Я уж полтора года знаю, какие у матушки вкусные пироги.

Отец Сергей намекал на свое первое знакомство с Моченевыми, на Пасху 1925 года. Тогда, на первый день Пасхи, он был арестован, а на третий доставлен в Пугачев. В городе очень скоро стало известно, что в милиции находится арестованный священник, и, хотя никто его не знал, в тот же день ему принесли от Моченевых передачу – вкусный праздничный обед. То же было и в среду, только в этот день передачу приносили три раза – в завтрак, обед и ужин, и утром в

четверг. Приносили столько, что о. Сергей делился со своими случайными товарищами и с дежурными охранниками – им ведь тоже не очень приятно было сидеть на работе, когда все их товарищи отдыхают (тогда еще в учреждениях праздновали Пасху). Понятно, что это угощение помогло установиться добрым отношениям.

В четверг, едва начались занятия, о. Сергия отпустили; он зашел в Новый собор, отстоял литургию и поблагодарил о. Александра за сочувствие и помощь.

Этот случай и напомнил о. Сергей, сидя за обедом; он был не из тех, которые стесняются лишний раз поблагодарить за сделанное добро. А о. Александр был не из тех, которые готовы без конца слушать благодарности; он сразу перевел разговор на другое.

– Я по себе знаю, как тяжело человеку в праздник в таких условиях, – сказал он. – В 1924 году нас, несколько человек, привезли в Самару как раз в Великую субботу. Вот тяжело было! На улицах чувствуется праздник, звонят колокола, а нас, грязных, полуголодных, ведут через весь город в тюрьму. Только что мы вышли с вокзала, мимо нас, будто случайно, прошла женщина и тихонько спросила: «В чем нуждаетесь?» Мы-то еще недавно из дома уехали, а с нами были два архиерея, они, не помню, сколько уже времени, с этапа на этап переходили. Один из них показал на разбитую обувь, другой знаком объяснил, что нужно белье. И не успели нас в тюрьме оформить, как несут передачу: белье, обувь,

громадный кулич, пасху, узел крашенных яиц и еще что-то. Слезами мы тогда это угощение облили, а все-таки радостно было. Устроили-таки добрые люди и для нас праздник!

– А ты расскажи, как тебя причащали, – напомнила матушка.

– Да, интересно получилось! – глаза у о. Александра заблестели, по лицу разлилась счастливая улыбка.

– Сами понимаете: пост, а я в милиции. Владыка Павел, дай ему Бог здоровья, и придумал: отслужил литургию, да и направил ко мне отца дьякона со Св. Дарами... Вот он, герой-то сидит, – показал о. Александр на дьякона Федора Трофимовича, с аппетитом обсасывавшего рыбную косточку – Так прямо в чаше и нес через площадь.

– И пропустили?

– Представьте себе, пропустили.

Во время прошлогодней встречи о. Александр сказал: «Трудновато нам одним кормить всех, кто сюда попадает. Если бы вы из сел нам немного помогли».

Вернувшись, о. Сергей поговорил кое с кем из соседей и прихожан, и вскоре в Пугачев были отправлены сухари, масло, яйца и другие непортящиеся продукты. Немного спустя, села последовали их примеру.

## Глава 4

### Две семьи



Дьякон Федор Трофимович Медведев был вдов, и женщинам не нужно было делать ему визита, а в молодые семьи к псаломщикам более подходило идти Соне, кстати, Женя Жарова так настойчиво приглашала ее. Выбрав, для храбрости, время, когда Димитрия Васильевича заведомо не было дома, Соня отправилась в красивый особнячок, где Жаровы снимали квартиру.

Женя происходила из состоятельной и культурной семьи, одной из тех, членов которых в маленьком городке все знают. Может быть, сложившиеся в детстве привычки отразились и на выборе именно этой квартирki... Во всяком случае, обстановка темноватой, но уютной столовой, в которой Женя приняла гостью, могла быть только у таких людей.

Вынув из старинного, резного, темного дерева буфета тонкие хрустальные вазочки с вареньем, красивые чашки и маленькие тарелочки для закусок, Женя угощала новую знакомую и, приветливо сияя глазами, без умолку говорила. О чем только она не говорила! И о своей свадьбе, о борьбе, которую ей пришлось выдержать с родителями, не желавшими этого брака, и о том, как они в прошлом году чуть не утонули, катаясь на худой лодке, и о своей бабушке, которая, бывало, водила ее к заутрене в монастырь, и еще о многом. А Соня слушала и думала.

Ей вспоминался рассказ отца, как он удивился, когда молодая женщина при первом знакомстве отрекомендовалась просто: «Женя!» Обычай называться уменьшительным именем тогда только входил в моду и до села еще не дошел. Впрочем, и в городе он не вполне утвердился; Дмитрий Васильевич, например, совсем не претендовал на то, чтобы остаться Митей. Поэтому о. Сергей спросил: «А как ваше отчество?»

– Я еще молоденькая! – с легкой смущенной гримаской ответила Женя.

Действительно, она была молоденькая. Что-то совсем юное проскальзывало в ее тоне и манере, несмотря на пенсне и густые, срастающиеся брови, придававшие ей солидность. Совсем по-молодому она любила и поболтать, и повеселиться, и в кино сходить. Это служило иногда причиной очередных недоразумений между ее мужем и отцом Сергием. Принаряженная для кино или гостей, Женя появлялась к концу вечерни в церкви; Дмитрий Васильевич, увидев ее, начинал торопиться и зарабатывал замечание, иногда довольно резкое.

Все же бабушкино воспитание было в Жене очень заметно.

– Вы посмотрите, как она молится, говорила о ней Юлия Гурьевна.

Правда, молилась Женя удивительно – горячо, искренно, забывая об окружающем. Жена регента, Прасковья Степановна, не вставала на клирос, когда собиралась говеть и хотела спокойно помолиться, а Жене ничто не мешало, она и на клиросе могла прекрасно отдаваться молитве. Вообще, несмотря на сверкавший в ее глазах огонек юности, она казалась взрослее, серьезнее, вдумчивее мужа. Размышляя о горячем, неустоявшемся характере Дмитрия Васильевича, о Сергий возлагал надежды на ее доброе влияние. И не ошибся.

Регент Михаил Васильевич Емельянов был человеком совсем иного типа, чем его младший товарищ: небольшого ро-

ста, более спокойный. Он был почти новичком в городе, приехал туда из Уральска ровно за год до о. Сергия. И у него, и у его жены Прасковьи Степановны, и даже у маленького Бори, когда он начал достаточно понятно объясняться, был сильно замечен уральский говор. Они говорили: «пимы», «Сяров», «дярутся» и т. п.

Емельяновы еще не успели обзавестись постоянным кругом знакомств и скучали. Как псаломщик первого штата, Михаил Васильевич, в основном, служил с настоятелем и мог бы почти не встречаться с о. Сергием. Однако он часто, гораздо чаще, чем Димитрий Васильевич, заходил к новому батюшке, еще когда тот жил один, продолжал заходить, и когда к нему приехала семья.

Вначале для таких посещений было два основных повода – возможность получать ссуды и брать книги для чтения. К отцу Сергию, продавшему свой домик в Острой Луке, до покупки нового все сослуживцы обращались за небольшими займами, и чаще всех это делал Михаил Васильевич. С другой стороны, он как манны небесной ждал библиотечки о. Сергия, о которой зашел разговор еще тогда, когда они вдвоем сидели в полупустой и страшно холодной квартире нового священника. Когда же библиотечку наконец привезли, Михаил Васильевич стал самым частым и аккуратным ее абонентом.

Михаил Васильевич успел принять участие в Гражданской войне. В 1919-20 годах он отбывал действительную

службу в закаспийских степях, воюя против казаков Серова. На память об этом времени остался глубокий круглый шрам на правой щеке, а на правой руке у него два пальца были оторваны осколком снаряда. После армии Михаил Васильевич пел на клиросе в Уральском соборе, даже был там помощником регента. Естественно, что, не зная других образцов, он во всем, хорошем и плохом, подражал этому регенту и считал его непререкаемым авторитетом в области пения. Пение Михаил Васильевич страстно любил, и в этом была одна из точек соприкосновения его с о. Сергием, хотя вкусы их были совершенно различны и они много спорили, толкуя о стилях пения.

Для начинающего регента у Михаила Васильевича была довольно большая нотная библиотека; когда закрывали собор, он ночью вынес оттуда какие мог нотные тетради и зарыл их в сугробе, а потом постепенно перетаскал домой. Он красочно рассказывал о своих переживаниях в это время, да и вообще любил и умел рассказывать; рассказывал и случаи из певческой жизни, и о военном времени. Вопреки распространенному мнению, будто самым страшным видом оружия обычно считают то, от которого пострадали сами, Михаил Васильевич самым страшным считал конную атаку казаков.

– Пехоте труднее всего выдержать, когда казаки мчатся на нее во весь опор с шашками наголо, рассказывал он, – да при этом еще орут или визжат что ли дикими голосами; мороз по коже пробирает. А шашками они так работают – с одного

удара пополам разрубают человека или руку с плечом отрубают, – та же смерть, только мучений больше. Очень трудно выдержать, не стреляя, подпустить их на нужное расстояние, так бы и повернулся и побежал... а если побежал – конец... От верховых не убежишь, а бегущих казаки рубят, как им вздумается. Зато уж если выдержит пехота, да с близкого расстояния даст залп – тут, считай, казакам конец. Потому-то они так и стараются кричать, на психику подействовать, чтобы до этого не допустить. От залпа передние ряды упадут, задние ни остановиться, ни повернуть на скаку не могут, сшибаются друг с другом, падают, лошади под ними бесятся, а по ним в это время залп за залпом...

Рассказывая, Михаил Васильевич страдальчески морщился – он не годился в поэты, у которых война выходит красивой.

Зато первый муж Прасковьи Степановны был воин по профессии – казак из-под Гурьева. Туда он увез из Уральска молодую жену, там и оставил ее с ребенком, когда стало ясно, что красные вот-вот завладеют городом.

– Я плакала, просила его, чтобы остался, а он мне ответил: «Что же мне из-за бабьей юбки ждать, пока у меня из спины ремней накроют?» рассказывала Прасковья Степановна. По ее тону было ясно, что даже тогда, во время паники, ее внимание остановили не «ремни», а «бабьей юбки». Оскорбление, звучавшее в этих словах, не забылось, а, может быть, стало еще ядовитее от того, чего молодая женщина натерпе-

лась потом от пьяного свекра.

– Кормиться-то нужно было, я на людей стирала, – продолжала она, по-видимому, снова переживая прошлое.

– Запрусь, бывало, в бане и стираю до поздней ночи, а он куролесит. Сколько я тогда передрожала, наверное, и сердце тогда испортила. Нет-то нет, заснет или уйдет куда-нибудь, а мы со свекровью наплачемся, наплачемся вместе... Потом ребенок у меня умер, в хозяйстве моей части не стало, а в области поспокойнее сделалось, и поезда пошли. Я и уехала обратно в Уральск, стала на клиросе петь. Миша тогда из армии вернулся, тоже там пел. С тех пор, как мой муж пропал, уже четыре года прошло, мне церковный развод дали, мы и повенчались. А тут вскоре и мой первый в Уральск явился; где он пропал это время, не знаю. Ну, мы и решили оттуда уехать.

Как и Женя, Прасковья Степановна рассказала свою историю в первый раз, как Соня пришла к ней. Они сидели в небольшой комнатке, жарко натопленной, чтобы было тепло ребенку, игравшему на полу, а маленький Боря деловито возился под столом. Боря был вылитый отец и в то же время хорош, как картинка. Чистая, белая кожа с нежным, чуть заметным румянцем, небольшой, красиво вылепленный носик, большие голубые глаза под тонкими черными бровями, пунцовые губки бантиком. Если бы такие краски были не у ребенка, а у девушки, никто бы не поверил, что это все натуральное. Вдобавок, Прасковья Степановна любила одевать

сынишку во все белое. Даже зимнее пальтецо и шапочка были у него из мягкой белой ткани, а этот цвет очень шел к мальчику. Вот и сейчас хозяйка и гостя залюбовались на Бору, когда он, выбравшись из-под стола, подошел к ним. Личико ребенка было озабоченно, а на пальчике, который он выставил вперед, виднелась капелька крови.

– Нозем! – взволнованно лепетал он, подходя к матери.

– Это значит – ножом, – пояснила та, завертывая пальчик чистой тряпочкой.

– Ухитрился где-то стеклянку найти, – добавила она, наклоняясь под стол и убирая опасный предмет. – Такой полазуха, никак за ним не уследишь. Вот посмотрите, что у него на ногах. Прасковья Степановна указала на яркие зеленые валеночки, из которых один был совершенно новенький, а на втором в двух местах красовались большие заплаты.

– Сжег было пимы. И как только ухитрился кинуть, ведь печь-то высоко. Я затопила, а сама вожусь у стола, стряпаю. Он подходит, бормочет: «Папа, мама», – а я и не пойму, о чем он. Сунулась к печи, а пим уже пылает, вон какие две дыры прогорели.

1 февраля 1927 г. у Бори родилась сестренка Валя, такая же блондиночка, но с темно-карими материнскими глазами. Прасковья Степановна охотно ходила к Самуиловым с обоими детьми, которых там с радостью встречали. Правда, первый самостоятельный поступок Вали, когда она начала без чужой помощи передвигаться по комнате, состоял в том, что

она вытащила из-под письменного стола большую бутылку чернил и вылила их в стоявшую рядом картонную коробку. Конечно, произошел переполох. Пока Соня тряпками и бумагой собирала чернила и оттирала пол, матери пришлось отмывать теплой водой виновницу происшествия, стирать и сушить ее беленькое платьице. Посещение на этот раз затянулось дольше обычного.

## Глава 5

### О певчих и пении



Отец Сергей имел очень хорошее мнение о Михаиле Васильевиче, как человеке и сослуживце, но находил, что как регент он оставляет желать многого. Большинство прихожан разделяло его взгляд. Прихожане еще помнили «старого регента Жукова», умершего от туберкулеза несколько лет назад. В последнее время Ефим Иванович не мог долго стоять;

хором управлял его сын Борис Ефимыч, перешедший потом в Старый собор. Он регентовал, а отец сидел на клиросе и поднимался только в самые ответственные моменты. «И при Борисе хорошо пели, сразу как будто и не заметно разницы, – рассказывали любители пения, – а как Ефим Иваныч встанет да взмахнет руками – хор будто подменят, совсем по-другому звучит!»

Уж если Борис Ефимыч не мог угнаться за отцом, то Михаилу Васильевичу и вовсе было до него далеко. Вдобавок, не только наших приезжих, привыкших в селе к благоговейному поведению певчих, но и многих из здешних старожилов коробило то, как держались певчие на клиросе: они стояли спиной к алтарю, улыбались, перешептывались, особенно во время чтений. Регент отчаянно размахивал руками, точно все пение зависело от силы его размаха, а так как он стоял на самом виду, то внимание молящихся отвлекалось – невозможно было не следить за его движениями.

– Михаил Васильевич, если бы вы постарались делать, как другие регенты, говорил ему о. Сергей. Вот в Самаре, в Петропавловской церкви, есть регент. У него весь хор стоит лицом к алтарю, а он сам сбоку и чуть впереди их, вполоборота: и ему их видно, и им его. И совсем не машет руками, только чуть-чуть шевелит пальцами да иногда бровью, а певчие поют, как хороший музыкальный инструмент. И смотреть, и слушать приятно.

– Не умею я так, – отвечал Михаил Васильевич.

Он, и действительно, не умел, да и не считал нужным что-то менять, находил все вполне нормальным. Сам вчерашний певчий, он в разговорах на клиросе не видел ничего особенного. Когда же ему со всех сторон начали делать замечания, он уже не мог справиться с избаловавшимися людьми. При Ефиме Ивановиче Жукове на клиросе была строгая дисциплина, при Борисе Ефимовиче она ослабела, а поступивший потом регент, о котором составилось мнение, что он неверующий, и совсем распустил певчих. И уж, конечно, не Михаилу Васильевичу с его мягким характером было взять хор в руки.

Связывало его и то, что певчие с хорошими голосами, при первой же попытке призвать их к порядку, фыркали: «Уйдем в Старый собор». Там, правда, им не было такой свободы, они не были там единственными и незаменимыми, но грозить – грозили, а некоторые даже выполняли угрозу. С этим тоже приходилось считаться.

Чуть ли не основная беда Михаила Васильевича как регента состояла в том, что он не мог добиться подчинения от собственной жены. Свое первенствующее положение в домашней жизни она перенесла и на клирос. «Главный регент», – язвительно звали Прасковью Степановну обиженные ею певчие, а за ними и все прихожане. Неплохая женщина, хорошая семьянинка и хозяйка, благодаря привычке командовать мужем, она потеряла чувство такта и на клиросе сделалась нетерпимой и несправедливой. Частенько, не

стесняясь тем, что это замечает вся церковь, она настаивала на исполнении именно тех вещей, которые нравились ей, пела все лучшие партии, затирая других дискантов. Особенно обидно было невестке о. Александра, Жене Моченовой, обладавшей удивительно красивым голосом, мягким, но не очень сильным. В хоре резковатый, громкий голос Прасковьи Степановны совершенно заглушал ее, а солировать ее не допускали. Дело дошло до того, что вмешался церковный совет и потребовал, чтобы Жене дали исполнять соло «Ныне отпускаеши». Когда начали готовить «На реках Вавилонских», только благодаря вмешательству того же церковного совета дискантовая партия была отдана Жене. Молящиеся получили незабываемое наслаждение. Чистый, серебристый голосок Жени, с глубоким чувством повторявший «Аще забуду... забвена буди...», вызывал слезы на глазах; как будто слышалось пение самих иудейских пленников. Мне он слышится и теперь, спустя сорок лет.

В известной мере Прасковью Степановну оправдывало то, что она действительно любила пение. Некоторые песнопения она исполняла так, что ее приятно было слушать. Когда она пела «Благословлю Господа на всякое время» за Преждеосвященной литургией или «Реку Богу: заступник мой еси», голос ее терял обычную резковатость и звенел неподдельной искренностью. Заметно было, что она сама переживает те чувства, которые передает.

Были удачи и вообще в репертуаре хора. Прежде всего

«Святый Боже» Угорского распева, который с искренним удовольствием слушала даже Соня, особенно тяжело переживавшая переход «от греческого пения к итальянскому», как определил отец Сергей. Хорошо, со вкусом, которого не хватает многим более видным хорам, пели «С нами Бог», Крещенские песнопения и прокимен «Море виде и побеже». Да и «На реках Вавилонских» с Женей Моченовой производило сильное впечатление. Правда, о последнем о. Сергей говорил, что он значительно выиграл бы, если бы вместо бесчисленных повторений на разные лады каждой фразы, из них взяли бы только по одному, наиболее сильному варианту. И добавлял: «А камней-то сколько навалили, это уже совсем лишнее!.. Теряется чувство меры, основным звучанием становится не скорбь, а жестокость».

Отец Сергей горячо любил пение и, несмотря на эти недостатки, вместе с Костей старался не пропускать ни одной спевки. Возвратившись, он иногда с удовольствием напевал понравившуюся ему мелодию, а иногда комментировал: «Марш какой-то!» И, рассказывая по комнате, наглядно доказывал, что под эту музыку очень удобно маршировать. А однажды пропел фразу из песнопения (не буду указывать, из какого, чтобы не смутить тех, которые его услышат) и спросил Юлию Гурьевну и Соню: «Что это?»

– Что-то очень знакомое, но что не могу припомнить, ответила Юлия Гурьевна.

Отец Сергей еще раз пропел мелодию, уже без слов, а за-

тем со словами, «переводя на русский язык»: «Ле-он мо-ой, ле-ен!» – и добавил с горечью: «Вот чем нас потчуют новые-то, модные композиторы!»

– Как много значит в церковном пении правильный темп, – говорил он в другой раз. – А у нас то торопятся, чуть не захлебываются, слова не выговаривают, особенно на левом клиросе, то как воз в гору тащат. Некоторые регенты, особенно второстепенные и третьестепенные, медленность и вычурность считают торжественностью. Чем больше праздник, тем больше они стараются насовать всяких концертных «номеров» с бесконечными, а часто и бессмысленными повторениями одних и тех же слов. Затянут службу, а потом начинают пропускать стихиры, не считаясь с тем, что некоторым стихирам, по их содержанию, цены нет. Понравилось им это «Ныне отпускаеши»! Я прошлый раз по часам заметил, ровно пятнадцать минут пели. Сколько стихир можно бы пропеть за это время, если бы не увлекались итальянщиной! Эти все сложные «Херувимские» да «Отче наш» – «птички» – хороши для духовных концертов, какие устраивались раньше во внебогослужебное время, а не для самого богослужения. На концерте можно полюбоваться и голосами певцов, и искусством, с которым они справляются с разными, чуть не оперными, фокусами. А за богослужением нужно другое, нужно, чтобы еще пение создавало и усиливало молитвенное настроение – его «птичкой» не достичь. Наши лучшие духовные композиторы: Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский

– знали этот секрет, и лучше их гласовых напевов ничего не придумаешь. А у нас в последнее время привыкли гласовое пение считать за ничто. Какие-то деревенские реген-тишки и хоришки и то норовят петь «понотно» (хотя в нотах почти ничего не смыслят), а так называемое «простое» пение оставили левому клиросу. А оно, кстати сказать, совсем непростое, далеко не всякий хор сумеет как следует исполнить его, не подменяя всякими «придворными» и тому подобными распевами. Конечно, если поют два старика да три старухи, хорошего не получится. А когда на него, хотя бы и в селе, обращено должное внимание, то споют так, что заслушается. А вот у епископа Тихона в его миссионерской школе пели по-единоверчески молодые, звучные голоса, – куда до них нашему хору! И в семинарии у нас, бывало, все больше гласовое пели (нотное очень мало, и только настоящих церковных композиторов, вроде Архангельского), – а сколько людей приходили слушать!

– Да, я тоже очень любила семинарское пение, – подтвердила Юлия Гурьевна, – очень любила туда ходить. Да и, вообще, мне больше нравится мужское пение.

– Это еще новый вопрос. Женские голоса по природе резкие и страстные, они заглушают мужчин. Чтобы они не преобладали в хоре, а украшали его, женщины должны составлять примерно четвертую часть поющих, а в современных хорах бывает наоборот – мужчин четвертая, а то и пятая часть.

На квартиру к новому батюшке частенько заходил по-соседски один из церковных попечителей, Григорий Амплеич Калабин, маленький, худенький и очень горячий старичок. Как-то так получалось, что он почти всегда попадал во время обеда.

– Садитесь к столу, Григорий Амплеич, – приглашали его.

– Спасибо, не хочу, – солидно отвечал он. – Сейчас только пообедал. Щи с горохом ел.

Он брал стул и усаживался чуть поодаль от стола, аккуратно устроив между ног довольно увесистую палку.

Разговор начинался с текущих соборных дел, переходил на воспоминания о недавнем прошлом, снова возвращался к собору и т. д. Григорий Амплеич был ярким противником обновленчества, в 1923 году вместе с другими членами церковного совета привлекался к суду за сопротивление, оказанное уполномоченному ВЦУ, и очень любил об этом рассказывать.

– Ведь оправдали нас, – говорил он. – Значит, и суд согласился, что по-другому мы не могли поступить. А что же было терпеть, когда Варин к нам в собор лез? Мы замок навесили, а он со своими явился, хотели ломать. Тут, конечно, народ сбежался, попечители пришли, не дали. Я вот этой палкой!..

Его глазенки возбужденно блестели, палка внушительно стучала об пол, убедительно подчеркивая наиболее острые моменты рассказа. С языка, по адресу Барина, с силой срывались эпитеты: «чубук»... «лоскут»... – самые резкие вы-

ражения, которые позволил себе употреблять маленький попечитель. Можно было поверить, что противники у Барина оказались не из смиренных.

Григорий Амплейч стоял в церкви на левом клиросе, подпевал там дискантом, как его когда-то учили в школе, и имел свой идеал церковного пения. Он не забирался в дебри теории, а рассуждал попросту, требовал, чтобы пение было «церковное, а не как в театре», и чтобы певчие ни своим поведением, ни самим пением не нарушали церковного благочиния.

– Не могут начать сразу! – горячился он. – Священник возглас даст, а они «докают» да «микают», камертон разогревают.

Эта привычка не беспокоиться о непрерывности богослужения, задавать и перезадавать тон иногда в самые важные моменты, даже во время Евхаристийного канона, волновала и о. Сергия. Еще больше его возмущало то, что даже в эти моменты регент и певчие считаются только с собой, по собственной фантазии выбирая то очень быстрый, то очень медленный напев.

Во время Евхаристийного канона, хотя бы и не сам служил, хочется сосредоточиться, углубиться, – говорил о. Сергий, объясняя, почему не выходит в это время исповедовать. Он и в селе перестал руководить хором отчасти для того, чтобы не рассеиваться. – А то читаешь тайные молитвы и прислушиваешься, как певчие такую-то и такую-то ноту

возьмут.

В селе он мог не следить за пением, знал, что певчие возьмут нужный темп и кончат одновременно с ним, а если поторопятся, то и повторяют последние слова. А здесь?

– Я евхаристийные молитвы читаю, в это время все должно идти по порядку, в привычном ритме, чтобы не нарушалось молитвенное настроение, – жаловался он. – А тут читаешь и слышишь, что на клиросе молчат: спели что-то быстрое и меня поджидают. Тут невольно начинаешь нервничать, торопиться. А то еще хуже, дойдешь до самого важного момента, скажешь начало стиха, нужно возглашать: «Приимите, ядите!» – а певчие все свои рулады выводят. Вот и сохрани тут молитвенное настроение перед самым Пресуществлением!

Он ненадолго замолчал, чтобы дать почувствовать серьезность сказанного, особенно если его собеседником был Михаил Васильевич, потом продолжал.

– Рассказывали про митрополита Филарета Киевского, что ему однажды пришлось служить в присутствии императора Николая Первого. Придворные перед началом шепнули митрополиту что, мол, его величество торопится, нужно кончить литургию за час. А он два прослужил и на сделанное ему замечание ответил: «В присутствии Царя Небесного я не могу помнить о земном». Знаете, что Николай Первый из себя представлял? А вы хотите, чтобы я к певчим приноравливался!

По поводу какого-то такого «Господи, помилуй», в котором сопрано выделяет замысловатые коленца, один слушатель высказался так: «Посмотрел бы я, как она запоеет „Господи, помилуй“, когда смерть пред собой увидит; пожалуй, забудет все эти выкрутасы-то».

## Глава 6

### Новоселье



Едва квартира была приведена в порядок, устроили новоселье. У о. Сергия собралась та же компания, которая была на поминках у Моченевых, только Михаил Васильевич на этот раз явился «со своей Панюркой». Они вместе с дьяконом Медведевым пришли первыми. Михаил Васильевич хозяйским взглядом окинул знакомую комнату. Она совершенно изменилась: трюмо, фисгармония, книжный шкаф,

небольшой красивый буфет, какие были в моде, когда о. Сергей женился, портреты его родителей на стенах. Но чего-то не хватало: исчез корявый, полусохший фикус, который раньше занимал середину комнаты.

– А где же древо жизни? Выбросили? – спросил Михаил Васильевич, здороваясь.

Дьякона Федора Трофимовича заинтересовал японский лакированный альбом, лежавший на столике перед трюмо. Мальчики, приехавшие на каникулы из с. Приволжья, где они учились, подсели к нему, и Костя начал объяснять, кто изображен на фотографиях. Евгений Егорыч Самуилов... он же с женой... Юлия Гурьевна.



Отец Сергей с женой вскоре после рукоположения, еще с короткими волосами и пушком вместо бороды. Братья обоих супругов в студенческой и военной форме. Юлия Гурьева с двумя красавцами сыновьями. Отец Сергей, вернее, маленький Сережа Самуилов, то один, то с братьями, то на руках у матери... Федор Трофимович перевернул еще один лист; с небольшой «визитной» фотографии на него взглянуло юношеское лицо с задумчивыми глазами и светлыми волосами. Федор Трофимович перевел взгляд с фотографии на Костю, снова на фотографию, опять на Костю и сказал чуть-чуть укоризненно, словно тот хотел его обмануть: «Да это и не ты!»

– Не я, – подтвердил Костя. – Это папа.

– Похож ты на отца. Я сначала подумал, что ты.

В прихожей хлопнула дверь. Вошли Жаровы, и следом за ними сразу четверо Моченевых. Жаровы, как и в прошлый раз, были принаряжены. Димитрий Васильевич в новеньком костюме, Женя – в светлой шелковой кофточке и высоких сапожках с пуговицами. Эти сапожки, из дорогой кожи, на белой шелковой подкладке, Димитрий Васильевич недавно купил за 35 рублей и уже хвастался ими перед сослуживцами. Михаил Васильевич тогда сокрушался, что не имеет возможности подарить такие своей жене, а о. Сергей возмущался.

Отдал за сапожки чуть не весь месячный заработок! Ко-

нечно, им родители помогают, и те, и другие, да не в том дело. Если и средства позволяют, недопустимо бросать такие деньги на наряды.

Все гости, за исключением матушки Моченовой и отца дьякона, не переступавшего в своих музыкальных познаниях за пределы церковных служб, были певцами. Они заинтересовались грудой нот, лежавших около фисгармонии, и после молебна и обеда занялись ими. Там было несколько тетрадей с партитурами опер, кипа различных печатных нот, но больше всего рукописных, оставшихся от того времени, когда квартиру Самуиловых каждое лето наполняла музыкальная молодежь, братья и сестры хозяев.

– Споем? – предложил кто-то из гостей. – Отец Сергей, найдите что-нибудь хорошенькое!

Отец Сергей порылся в нотах и вытащил четыре тоненькие тетрадочки.

– Вот! Полностью все голоса сохранились! Знакомо ли это вам? «Дай, добрый товарищ, мне руку свою».

– Знакомо. Хорошая вещь! – потеплевшим голосом отозвался о. Александр.

Молодежь была не настолько осведомлена, но Прасковья Степановна смело взяла тетрадь с надписью «Дискант». К ней подошла Женя Моченева. Женя Жарова, единственный альт, получила свою тетрадь в единоличное пользование, мужчины сгруппировались у двух других. Отец Сергей, знавший теноровую партию наизусть, приготовился акком-

планировать. Но пение не пошло. Мелодия оказалась красивой, но довольно трудной, а молодежь не привыкла петь с листа, без подготовки. Все-таки им не хотелось отступить, и, когда батюшки отошли, они продолжали перебирать ноты, пробовали спеть то одно, то другое.

– А ваши дети не поют? – спросила Софья Ивановна Моченева, заметив, что дети хозяина присоединились к сидящим за столом.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.